

УДК 821.161.1(09)
ББК 63.3(2)61
М52

Публикуется по изданию:
Мережковский Д. С. Царство Антихриста: Третья и четвертая тысяча. Мюнхен, 1922.

Мережковский Д. С. и др.
М52 Царство Антихриста: Третья и четвертая тысяча / З. Н. Гиппиус, В. А. Злобин, Д. С. Мережковский, Д. В. Философов; вступ. ст. Г. Елисеева, комментарии В. Е. Климанова. — М.: Кучково поле, 2017. — 256 с. — (Библиотека русской революции)

ISBN 978-5-9950-0831-6

Эта книга — итог размышлений Д. С. Мережковского и его соратников (З. Н. Гиппиус, В. А. Злобина и Д. В. Философа) о причинах и сущности Октябрьского переворота, большевистской власти в России, изменениях в русском обществе и событиях в Европе.

Это — точка зрения современников, видевших переломные события начала XX века, повлиявшие на историю России и всего мира, как «изнутри», так и в перспективе.

УДК 821.161.1(09)
ББК 63.3(2)61

ISBN 978-5-9950-0831-6

ООО «Кучково поле», 2017

Герой несостоявшегося Возрождения

В мировой истории бывали эпохи, которые обещали больше, чем воплотилось в реальность; периоды, при изучении которых ясно, что потенциал нереализовавшихся сил в обществе был значительно больше результата. Такой невоплощенной до конца эпохой и стал русский Серебряный век. Всеобъемлющее культурное потрясение, массы надежд, предчувствие чуть ли не новой реформации христианства, которая должна прийти из России... И в результате — после многообещающего резкого старта — глобальный культурный срыв в почти первобытную духовную дикость... Вместо нового Возрождения — тотальная деградация.

Однако у этого, так и не развившегося до своих возможных высот «русского Ренессанса» были свои титаны. Они не превратились в потрясающих и противоречивых творцов классического Возрождения, но обещали многое. И частично сумели реализоваться — в той степени, в какой им позволили исторические обстоятельства. Одним из таких «прототитанов» и стал Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Он родился 2 августа 1865 года в Санкт-Петербурге, на Елагине острове, в семье действительного статского

советника С. И. Мережковского, служившего в Дворцовой конторе*.

Дмитрий Мережковский вырос в богатой, многодетной семье (шесть сыновей и три дочери), что наложило отпечаток на его характер и на всю последующую жизнь. Отец мало общался с сыном, отношения с братьями и сестрами у Дмитрия были сложными, и единственным близким ему человеком в семье оставалась мать. Мережковский с детства был закрытым и задумчивым, обладал философским взглядом на мир и ощущал себя непонятым и не понимаемым. Однако он был твердо уверен в собственном недюжинном таланте. Что же, в последнем он не ошибся.

И в гимназии, и в университете Мережковский легко справлялся со всеми учебными заданиями, однако постоянно ощущал неудовлетворенность тем, как его учат. Впрочем, это не помешало ему вполне успешно закончить историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. После его окончания в 1888 году Мережковский предпринял путешествие по югу Российской империи — от Одессы до Боржома.

Во время этой поездки жизнь Мережковского резко изменилась — это была встреча, повлиявшая на всю его дальнейшую судьбу. В Боржоме он познакомился с девятнадцатилетней Зинаидой Гиппиус, безумно влюбился в нее, она ответила взаимностью, и уже 8 января 1889 года они повенчались в Тифлисе. Зинаида Гиппиус стала верной спутницей Мережковского на 52 года, и не только супругой, но и единомышленницей и соратницей, разделившей самые глубинные помыслы Дмитрия Сергеевича.

* О биографии Д. С. Мережковского см., например: *Николюкин А. Феномен Мережковского // Д. С. Мережковский: Pro et contra. Личность и творчество Мережковского в оценке современников. СПб., 2001. С. 9.*

И хотя в их дальнейшей семейной жизни все было далеко не безоблачно — и у Мережковского, и у Гиппиус случались серьезные любовные романы «на стороне», — в итоге ничто не смогло разорвать этот союз. Супруги вновь и вновь возвращались друг к другу, продолжая творить и размышлять в одном четком ритме, так, что иногда трудно понять — кому именно из творческого тандема принадлежит авторство тех или иных идей и рассуждений. Люди, хорошо знавшие эту семейную пару, уверяли, что многие идеи для статей и книг принадлежали именно Гиппиус, однако ее супруг умел придать им почти идеальную текстовую форму.

Мережковский, который многими воспринимается преимущественно как мыслитель и философ, на самом деле был очень разносторонним творческим человеком. Например, его стихи и проза нередко интереснее, чем сложные философские построения, никогда не приводившиеся в систему и разбросанные преимущественно по публицистическим произведениям.

Мережковский был безусловно талантливым и ярким поэтом. Стихи он начал писать еще в 13 лет, и первые его опыты в этой области были изданы в 1880 году, а в 1888 году вышел сборник «Стихотворения», привлечший внимание многих читателей. В период поэтического затишья, предшествовавшего мощному взрыву Серебряного века, Мережковский стал ярким и заметным автором, первым флагманом символизма как поэтического и культурного движения. Он близко подружился с С. Я. Надсоном, одним из самых талантливых поэтов 1880-х годов в России, высоко оценившим стихи Дмитрия Сергеевича. Нередко обходят вниманием тот факт, что Мережковский также был успешным переводчиком, точно понимавшим суть оригинала и удачно передававшим его на русском языке. Особенно Дмитрия Сергеевича занимали античная драматургия

и поэзия — из-под его пера вышли переводы трагедий Софокла, Эсхила и Еврипида, романа Лонга «Дафнис и Хлоя».

Важным был вклад Мережковского и в литературную критику. Его подробное исследование «Лев Толстой и Достоевский» (1900–1901) считается одним из лучших обзоров творчества этих колоссов русской литературы. А сборник его очерков «Вечные спутники» о выдающихся писателях даже выдавали в качестве награды ученикам гимназий за успеваемость.

Но самым заметным было воздействие Мережковского на русскую (и более того — на мировую) историческую литературу. Он в сущности создал целый ее субжанр — историософский роман.

Исторические романы Мережковского во многом были преимущественно «драмой идей», а не схваткой персонажей. Доведение до читателей определенных философских конструктов писателю казалось важнее, чем показ полнокровных и правдоподобных романтических героев. Не случайно, что в эмигрантский период своего творчества он перешел от привычной формы романа, с ее многочисленными действующими лицами и полифонией высказываний, к монологу, текстам-трактатам. Они не являются еще философскими сочинениями в чистом виде, но по форме далеки от привычной беллетристики («Тайна Запада», «Иисус неизвестный», биографии католических и протестантских деятелей). Мережковский-мыслитель хоть и не превратился в педантичного и сухого философа, но явно «подавил» Мережковского-романиста и Мережковского-поэта. В его сочинениях завуалированное высказывание, работа с читателем на уровне подсознания явно уступили место прямой декларации, в чем-то даже нарочитой проповеди, порождающей аналогии с ранней публицистикой мыслителя.

Не один роман, а целая серия текстов, иллюстрирующая определенную концепцию автора как историка и философа — основная форма творчества Мережковского-прозаика. Его цикл «Христос и Антихрист» («Юлиан Отступник: Смерть богов», «Леонардо да Винчи: Воскресшие боги», «Петр и Алексей: Антихрист») представляет собой последовательную художественную иллюстрацию ведущей мысли — идеи несовершенства как христианства, так и язычества, их исторической неудачи. Мысль о преодолении конкретных форм религиозности, словно гипнотизировавшая Мережковского, в его романах представлена в виде эпического полотна, довлеющего над всем ходом разворачивающихся событий. Персонажи писателя не живут полнокровной жизнью, а исполняют роли, иллюстрирующие определенные философские идеи. Разумеется, это была совершенно неожиданная форма развития исторической литературы, но у нее оказались последователи в XX веке.

Для понимания сложных и порой противоречивых теоретических построений, к которым всегда был склонен Мережковский, важно то, что в молодости он начинал как мыслитель-позитивист, «народник» и духовный ученик Н. К. Михайловского. Изначальная идейная закваска, основанная на «народопоклонстве» и преклонении перед идеей революции, продолжала скрыто присутствовать и в последующих трудах писателя, на первый взгляд посвященных исключительно культурной или религиозной проблематике. Утопический и хилястический соблазн, которым была заражена вся светская культура России XIX века, красной нитью проходит через все публицистические произведения Дмитрия Сергеевича и отражается в его художественной прозе.

Ядром идей Мережковского стала концепция так называемого Третьего Завета, который должен был завершить историко-религиозный процесс, начатый

Ветхим и Новым Заветами. Писатель считал, что в определенные эпохи ярче проявляется действие разных ипостасей Пресвятой Троицы. Ветхий Завет исходил от Бога-Отца, Новый — от Бога-Сына, Третий Завет должен стать Заветом Святого Духа. В мир должна была прийти новая религия, контуры которой мыслитель отчетливо не видел, но предполагал, что она будет сочетать наивысшие достижения античного язычества и всех конфессий христианства.

Идея Троичности, в принципе представляющая собой одну из сложнейших проблем христианского богословия в целом, была исключительно важна для Мережковского. Попытки разгадать тайну Троицы предпринимались им в самых разных произведениях на протяжении всей жизни, заставляли видеть ее отражение в различных духовных движениях в период древней истории. Однако только философскими и околбогословскими штудиями в данном вопросе дело не ограничивалось. Идею троичности Мережковский и Гиппиус пытались воплотить и в обыденном существовании. Так, тесную дружбу с поэтом Д. В. Философовым они пытались представить в виде воплощения идеи троичности в семейной и общественной жизни. Философов на роль «дополнительной ипостаси» в этой семье явно не годился, периодически ругался со своими приятелями, уезжал прочь из гостеприимного дома, но потом вновь мирился с ними и продолжал участвовать в столь странном опыте.

Не менее странными были и попытки воплотить религию Третьего Завета в форме своего рода богослужения. У себя дома Мережковские устраивали коллективные молитвы по специальному ритуалу. Выглядело это почти пародийно, скорее дискредитируя идеи «нового религиозного сознания», чем способствуя их распространению.

Идеи духовного возрождения, которое должно было начаться в России, Мережковский стал воплощать, организовав в 1901 году вместе со своими единомышленниками так называемые Религиозно-философские собрания в Петербурге. На этих собраниях, где можно было встретить самую разнообразную публику — от иерархов Русской православной церкви до вождей сектантских общин, — откровенно обсуждались крайне спорные аспекты религиозного обновления. В этих дискуссиях многие доходили до кощунственных рассуждений. Столь буйное религиозное творчество в конце концов вызвало раздражение обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева, и 5 апреля 1903 года собрания были официально закрыты.

Возобновить «русское национальное и религиозное возрождение» Мережковский и его соратники попытались в 1907 году, когда в Санкт-Петербурге открылось Религиозно-философское общество. Однако это было не настолько активное и многолюдное собрание. И хотя Общество просуществовало дольше — фактически до 1916 года, — его влияние на русскую духовную жизнь Серебряного века оказалось значительно меньшим.

Наилучшую характеристику деятельности Мережковского в области «религиозного возрождения» дал его друг и сподвижник В. В. Розанов: «Долго не читаемый массой общества, осмеиваемый журналистами и газетными «обозревателями», он ушел в себя и в книги, ушел в упорное чтение, в глубокий восторг читателя и критика, критика не с пером в руке, а с мыслью в голове, — и из его огромной начитанности, из глубокого, восторженного переживания множества чужих идей, из тонкого критического сопоставления этих идей и родилось одно течение «нового русского религиозного сознания»*.

* Розанов В. В. Представители «нового религиозного сознания» // Розанов В. В. Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. М., 2003. С. 356.

1919, Июнь
СПб.

...Не забывай моих последних дней...

...О, эти наши дни последние,
Остатки неподвижных дней.
И только небо в полночь меднее,
Да зори голые длинней...

Июнь... Все хорошо. Все как быть должно. Инвалиды (грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами) заводят свою музыку разно: то с самого утра, то попозже. Но, заведя, уже не прекращают. Что-нибудь да зудит: или гармоника, или дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. В разных этажах. Кто не дудит — лежит брюхом на подоконнике, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар.

После одиннадцати часов вечера, когда уже запрещено ходить по улицам (то есть после девяти, — ведь у нас «революционное» время, на три часа вперед), музыка не кончается, но валявшиеся на подоконниках сходят на подъезд, усаживаются. Вокруг толпятся так называемые «барышни» в белых туфлях — «Катки мои толстоморденькие», о которых А. Блок написал:

С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла.

Визги. Хохотки.

Инвалиды (И почему они — инвалиды? Все они целы, никто не ранен, и госпиталя тут нет) — «инвалиды» — здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты. Слышно, буд-

то спекулируют, но лишь по знакомству. Нам ни одной картофелины не продали.

А граммофон их звенит, звенит в ушах, даже ночью, светлой, как день, — когда уже спят инвалиды, замолк граммофон.

*

Утрами, по зеленой уличной траве, извиваются змеями приютские дети — «пролетарские» дети — это их ведут в Таврический сад. Они — то в красных, то в желтых шапчонках, похожих на дурацкие колпаки. Мордочки землистого цвета, сами босые. На нашей улице, когда-то очень аристократической, очень много было красивых особняков. Они все давно реквизированы, наиболее разрушенные — покинуты, отданы «под детей». Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некоторых уже пройти нельзя, такая грязь и вонь. Стекла выбиты. На подоконниках лежат дети, — совершенно так, как инвалиды лежат, — мальчишки и девчонки, большие и малые, и, как инвалиды, глазеют или плюют на улицу. Самые маленькие играют сором на разломленных плитах тротуара, под деревьями, или бегают по уличной траве, шлепая голыми пятками. Ставят детей в пары и ведут в Таврический лишь по утрам. Остальное время дня они свободны. И праздны, опять совершенно так же, как инвалиды.

Есть, впрочем, и много отличий между детьми и инвалидами. Хотя бы это одно: у детей лица желтые — у инвалидов красные.

*

Вчера (28 июня) дежурила у ворот. Ведь у нас со времени военной большевистской паники установлено бессменное дежурство на тротуаре, день и ночь. Дежурят все, без изъятия, жильцы дома по очереди, по три часа каждый. Для чего это нужно, сидеть на пустынной,

всегда светлой улице — не знает никто. Но сидят. Где барышня на доске, где дитя, где старик. Под одними воротами раз видела дежурящую, интеллигентного обличия, старуху; такую старую, что ей вынесли на тротуар драное кресло из квартиры. Сидит покорно, защищает, бедная, свой «революционный» дом и «красный Петроград» от «белых негодяев»... которые даже не наступают.

Вчера, во время моих трех часов «защиты», улица являла вид самый необыкновенный. Шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючие большевистские автомобили. Маршировали какие-то оборванцы с винтовками. Кучками проходили подозрительные личности. Словом — царило непривычное оживление. Узнаю тут же, на улице, что рядом, в Таврическом Дворце, идет назначенный большевиками митинг и заседание их Совета. И что дела как-то неожиданно-неприятно там обертываются для большевиков, даже трамваи вдруг забастовали. Ну что ж, разбастуют.

Без всякого волнения, почти без любопытства, слежу за шныряющими властями. Постоянная история, и ничего ни из одной не выходит.

Женщины с черновато-синими лицами, с горшками и посудинами в ослабевших руках (суп с воблой несут из общественной столовой) — останавливались на углах, шушукались, озираясь. Напрасно, голубушки. У надежды глаза так же велики, как и у страха.

*

Рынки опять разогнали и запечатали. Из казны дается на день 1/8 хлеба. Муку ржаную обещали нам принести тайком — 200 рублей фунт. Катя спросила у меня 300 рублей, — отдать за починку туфель.

*

Если ночью горит электричество — значит, в этом районе обыски. У нас уже было два. Оцепляют дом и хо-

дят целую ночь, толпясь, по квартирам. В первый раз обыском заведовал какой-то товарищ Савин, подслеповатый, одетый как рабочий. Сопровождающий обыск И. И. (ужасно он похож, без воротничка, на большую, худую, печальную птицу) шепнул «товарищу», что тут, мол, писатели, какое у них оружие. Савин слегка ковырнул мои бумаги и спросил: участвую ли я *теперь* в периодических изданиях? На мой отрицательный ответ ничего, однако, не сказал. Куча баб в платках (новые сыщицы — коммунистки) интересовались больше содержанием моих шкапов. Шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкаф не пуст. Однако, обошлось. И. И. ходил по пятам каждой бабы.

На втором обыске женщин не было. Зато дети. Мальчик лет девяти на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дм. Серг.* Но в комодах с особенным вкусом. Этот наверно «коммунист». При каком еще строе, кроме коммунистического, удалось бы юному государственному деятелю полизать по чужим ящикам?

А тут — открывай любой.

— Ведь подумайте, ведь они детей развращают. Детей! Ведь я на этого мальчонку без стыда и жалости смотреть не мог! — вопил бедный И. И. в негодовании на другой день.

*

Яркое солнце. Высокая ограда С. собора. На каменной приступочке сидит дама в трауре. Сидит бессильно, как-то вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно, протянула руку. Не на хлеб попросила — куда! Кто теперь в состоянии подать «на хлеб»? На воблу.

* Д. С. Мережковский.

Холеры еще нет. Есть дизентерия. И растет. С тех пор как выключили все телефоны — мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать друг о друге, — а увидаться еще труднее.

Извозчика можно достать — от 600 рублей конец.

*

Мухи. Тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой — значит, его арестовали.

Так арестовали мужа нашей квартирной соседки, древнего-древнего старика. Он не был, да и не мог быть связан с «контрреволюцией», он просто *шел по Гороховой**. И домой не пришел. Несчастливая старуха неделю сходила с ума, а когда, наконец, узнала, где он сидит и собралась послать ему еду (заключенные кормятся только тем, что им присылают «с воли»), то оказалось, что старец уже умер. От воспаления легких или от голода.

Так же не вернулся домой другой старик, знакомый З.**. Этот вошел случайно в швейцарское посольство, а там засада.

Еще не умер, сидит до сих пор. Любопытно, что он давно на большевистской же службе, в каком-то учреждении, которое его от Гороховой требует, он нужен... но Гороховая не отдает.

*

Опять неудавшаяся гроза, какое лето странное. Но поспежело.

А в общем ничего не изменяется. Пыталась целый день продавать старые башмаки. Не дают полторы тысячи — малы. Отдала задешево. Есть-то надо.

* По адресу улица Гороховая, дом № 2 располагалась Петроградская Чрезвычайная комиссия.

** Вероятно, имеется в виду секретарь З. Н. Гиппиус В. А. Злобин.

*

Еще одного надо записать в синодик. Передался большевикам А. Ф. Кони! Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромой 75-летний старец. За пролетку и крупу решил «служить пролетариату». Написал об этом «самому» Луначарскому. Тот бросился читать письмо всюду: «Товарищи, А. Ф. Кони — наш! Вот его письмо». Уже объявлены какие-то лекции Кони красноармейцам.

Самое жалкое — это что он, кажется, не очень и нуждался. Дима* не так давно был у него. Зачем же это на старости лет? Крупы будет больше, будут за ним на лекции пролетку посылать, но ведь стыдно!

С Москвой, жаль, почти нет сообщения. А то достать бы книжку Брюсова «Почему я стал коммунистом». Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор. (Издавна злоупотребляет наркотиками.)

Валерий Брюсов — один из наших «больших талантов». Поэт «конца века» — их когда-то называли «декадентами». Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с А. Блоком и А. Белым, с ним было трудно. Не больно ли, что как раз эти двое последних, лучшие, кажется, из поэтов и личные мои долголетние друзья — чуть не первыми перешли к большевикам? Впрочем, какой большевик Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах. Он и А. Белый — это просто «потерянные дети», ничего не понимающие, аполитичные отныне и до века. Блок и сам как-то соглашался, что он «потерянное дитя», не больше.

Но бывают времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий обязан быть человеком. И я «взорвала мосты» между нами, как это ни больно. Пусть

* Д. В. Философов.

у Блока, да и у Белого, — «душа невинна: я не прощу им никогда».

Брюсов другого типа. Он не «потерянное дитя», хотя так же безответствен. Но о разрыве с Брюсовым я и не жалею. Я жалею его самого.

Все-таки самый замечательный русский поэт и писатель — Сологуб — остался человеком. Не пошел к большевикам. И не пойдет. Невесело ему за то живет.

*

Молодой поэт Натан В.*, из кружка Горького, но очень восстававший здесь против большевиков, — в Киеве очутился на посту Луначарского. Интеллигенты стали под его покровительство.

*

Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на другой лапоть.

*

Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера! Разломают и растаскают.

Таскают и торцы. Сегодня сама видела, как мальчишка с невинным видом разобрал мостовую. Под торцами доски. Их еще не трогают. Впрочем, нет, выворачивают и доски, ибо кроме «плешин» — вынутых торцов, — кое-где на улицах есть и бездонные черные ямы.

*

Н. был арестован в Павловске на музыке, во время облавы. Допрашивал сам Петерс, наш «беспощадный» (латыш). Не верил, что Н. студент. Оттого, верно, и вы

* Натан Венгров (Моисей Павлович Венгров) (1894–1962), детский поэт, литературный критик.

пустил. На студентов особенное гонение. С весны их начали прибирать к рукам. Яростно мобилизуют. Но все-таки кое-кто выкручивается. Университет вообще разрушен, но остатки студентов все-таки нежелательный элемент. Это, хотя и — увы! — пассивная, но все-таки оппозиция. Большевики же не терпят вблизи никакой, даже пассивной, даже глухой и немой. И если только могут, что только могут — уничтожают. Непременно уничтожать студентов, останутся только профессора. Студенты все-таки им, большевикам, кажутся *коллективной* оппозицией, а профессора разьединены, каждый — отдельная оппозиция, и они их преследуют отдельно.

Сегодня еще прибавили 1/8 фунта хлеба на два дня. Какое объедение!

Ночи стали темнее.

*

Да, и очень темнее. Ведь уж старый июль в половине. Сегодня 15 июля.

Косит дизентерия. Направо и налево. Нет дома, где нет больных. В нашем доме уже двое умерло. Холера только в развитии.

*

16 июля. Утром из окна: едет воз гробов. Белые, новые, блестят на солнце. Воз обвязан веревками.

В гробах — покойники, кому удалось похорониться. Это не всякому удается. Запаха я не слышала, хотя окно было открыто. А на Загородном — пишет «Правда» — сильно пахнет, когда едут.

Няня моя, чтобы получить парусиновые туфли за 117 рублей (ей удалось добыть ордер казенный), стояла в очереди сегодня, вчера и третьего дня с семи часов утра до пяти. Десять часов подряд.

Ничего не получила.

А И. И. ездил к Горькому, опять из-за брата (ведь у И. И. брата арестовали).

Рассказывает: попал на обед, по несчастью. Мне не предложили! Да я бы и не согласился ни за что взять его, горьковский, кусок в рот; но, признаюсь, был я голоден, и неприятно очень было: и котлеты, и огурцы свежие, и кисель черничный...

Бедный И. И., когда-то *буквально спасший Горького от смерти!* За это ему теперь позволяет смотреть, как Горький обедает. И только; потому что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели. Ну и пусть вашего брата расстреляют».

Об этом И. И. рассказывал с волнением, с дрожью в голосе. Не оттого, что расстреляют брата (его, вероятно, не расстреляют), не оттого, что Горький забыл, что сделал для него И. И., а потому, что И. И. *видит* теперь Горького, настоящий облик человека, которого он любил... и любит, может быть, до сих пор.

Меня же Горький и не ранит (я никогда его не любила) и не удивляет (я всегда видела его довольно ясно). Это человек прежде всего не только не культурный, но *неспособный* к культуре внутренне, а кроме того — у него совершенно бабья душа. Он может быть и добр — и зол. Он все может и ни за что не отвечает. Он какой-то бессознательный. Сейчас он приносит много вреда, играет роль крайне отрицательную, — но все это, в конце концов, женская пассивность, — «путь Магдалинин». Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо не поймет своих грехов.

Не завидую я его котлетам. Наша затхлая каша и водянистый суп, на котором мы сидим месяцами (равно как и И. И.), право, пища более здоровая.

Старика И., знакомого З. (я о нем писала) не выпустили, но отправили в Москву, на работы, в лагерь. Обвинений никаких. На работы нужно ходить за 35 верст.

*

Что-то все делается, делается, мы чуем, а что — не знаем.

Границы плотно заперты. В «Правде» и в «Известиях» — абсолютная чепуха. А это наши две *единственные* газеты, два полулистика грязной бумаги, — официозы. (В «коммунистическом государстве» пресса допускается ведь только *казенная*. Книгоиздательство тоже только одно, государственное, казенное. Впрочем, оно никаких книг и не издает. Издает пока лишь брошюры коммунистические. Книги соответственные еще не написаны, все старые — «контрреволюционны»; можно подождать, кстати, и бумаги мало. Ленинки печатать и то не хватает.)

Что пишется в официозах, понять нельзя. Мы и не понимаем.

И никто. Думаю, сами большевики мало понимают, мало знают. Живут со дня на день. Зеленая армия ширится.

Дизентерия, дизентерия... И холера тоже. В субботу пять лет войне. *Наша* война кончиться не может, поэтому я уже и мира не понимаю.

*

Надо продавать все до нитки. Но не умею, плохо идет продажа.

*

Дмитрий* сидит до истощения, целыми днями, корректируя глупые, малограмотные переводы глупых романов для «Всемирной литературы». Это такое учреждение, созданное покровительством Горького и одного из его паразитов — Тихонова, для подкармливания будто бы интеллигентов. Переводы эти не печатаются, да

* Д. С. Мережковский.

и незачем их печатать. Платят 300 ленинок с громадного листа (ремингтон* на счет переводчика), а за корректуру — 100 ленинок.

Дмитрий сидит над этими корректурами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом, переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела.

Интересно, на что в Совдепии пригодились писатели. Да и то, в сущности, не пригодились. Это так, благотворительность, копеечка, поданная Горьким Мережковскому.

На копеечку эту (за 14 ночей я получила около тысячи ленинок, полдня жизни) — не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны.

*

Ощущение *лжи* вокруг — ощущение чисто физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый.

*

Сегодня опять всю ночь горело электричество — обыски. Верно, для принудительных работ.

*

Яркий день. Годовщина (пять лет!) войны. С тех пор почти не живу. О, как я ненавидела ее всегда, этот европейский позор, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинulo на себя! Я уж не говорю о России. Я не говорю и о побежденных. Но с первого мгновения я знала, что эта война грозит неисчислимыми бедствиями *всей* Европе, и победителям и побежден-

* Имеется в виду оплата услуг машинистки по перепечатке текста (от названия первой выпускавшей серийно пишущей машинки — Ремингтон).

Черный мороз. Среда, 24 (11) декабря — западный Сочельник. Преддверие 20-го года. Вчера, 23 числа, была оттепель. А за день — такой же мороз, как сегодня, жгучий и черный.

Отправляемся на Царскосельский вокзал — на двух, с невероятными трудами добытых извозчиках, две тысячи рублей каждый. Мы уже сразу едва живы от усталости. Сколько мук было, волнений, унижений! У каждого из нас — нас четверо — командировки в Х, кровью и потом добытые. Командировки отличные — едут такие-то «товарищи» для чтения лекций по истории литературы и искусства среди красноармейских частей. И еще всякие бумажки... Словом — мы архилегальны. Но психология уже нелегальная. Все время кажется, что на нас косо смотрят, подозревают о наших преступных планах.

На вокзале носильщик (1000 рублей) мрачно взял наши пакеты, всем своим видом предсказывая худое.

Вокзал — новый, просторный — неузнаваем: запылан, загажен, полон солдатьем. Сели куда-то, пока наш молодой спутник пошел возиться с комендатурой. До отхода поезда еще часа два. Ждем. Состояние тупой решимости и готовности на все.

Постепенно кучи солдатья растут, и вот откуда-то слышатся речи: «Что дала советская власть? Все дала со-

ветская власть!» Оказывается — избирательное собрание в Совет. Каждые полгода, строго по конституции, повторяется комедия «выборов».

Говорил, однако, всего один «товарищ». Ему жидко похлопали. Затем началось пенье. В этом холодном, вонючем, тускло освещенном вокзале пели артисты из оперы (ничего не поделаешь, служба!). Пели арии из «Севильского цирюльника», «Мефистофеля» и т. д. Затем оркестр балалаечников и наконец — общее, жидкое, официальное пение «Интернационала» Кстати: что они с этим «Интернационалом» сделали? По-французски слова его полны огня, нельзя себе представить, чтобы и звуки его могли быть не бодрыми.

C'est la lutte finale,
Groupons nous, et demain...*

Когда же начинается у нас большевистская тягучка:

Э-то по-след-ний ре-ши-и-тельный бой... —

то решительно кажется, что кого-то хоронят, кого-то отпевают... И не «бой» слышится, а «надгробное рыдание...».

Да, молодцы — большевики. Знают свое дело. Скрутили русский народ. Уж теперь и речей не говорят. Выборное собрание, — «выбирайте» скорее, кого велено, а за то вам будет музыка, позабавим. «Сатана там правит бал», — рычал басо-баритон, и от этого рыка подымалась тошнота. Дьявол в водевиле. Вонючий, заплеванный, прокуренный зал, невидимое присутствие сыпной вши, Чрезвычайки, большевистской мерзости, мужицко-солдатской глупости... Я предпочитаю не описывать наше вхождение в вагон: оно было воистину не-

* Это наш последний бой, объединимся, и завтра... (фр.).

описуемо. Имея все возможные бумаги, грамоты, подписи, билеты, номера, даже какие-то «литеры» и стоя, после дикого бега в шубах по платформе, перед вагоном самого «международного» вида (когда мы бежали по платформе, моя спутница* бросила — не потеряла, а бросила — один тюк) — мы все-таки были убеждены, что останемся. Войти в вагон казалось невозможным физически. Где были два остальные наши спутника — мы не знали. Там ли, в вагоне, в этой черной кишасей дыре, или где-нибудь на рельсах, с вещами?

Но уже и стоять было нельзя. Нас подхватило и медленно стало нести, просовывать в черную кашу. Не знаю, долго ли продолжалось это впиранье в абсолютно темный коридор, в тюки, подобные горам, в мягкую толщу невидимых солдат... Ощущенье конца жизни, чувство червяка, которого сейчас раздавят.

Поезд, между тем, тронулся. Моя спутница сидела уже где-то под потолком, на каких-то ящиках и на чьем-то плече. В темноте коридора теперь начали аукаться, перекликаться. Узнаем голос одного спутника, потом другого, отзываемся. Один далеко, на конце вагона, другой, З.**, — ближе. Прошло, однако, с полчаса, пока мы все соединились.

На бумаге у нас четверых должно было быть отдельное купе. В этом купе, когда мы его нашли, уже сидело человек 11. Кое-как М.*** втиснулся на верхнюю полку, спутница наша тоже, З. тоже полез наверх.

Внизу зажгли огарок. Он осветил кучи голов, мешков и ящиков — везде: и в нашем купе, и в коридоре.

В первые минуты не было сомнений: надо выйти на первой станции и вернуться. Пробыть двое (хорошо двое!) суток в этом положении, в этой атмосфере — вагон бурно отапливался — казалось невозможным. Это

* З. Н. Гиппиус.

** В. А. Злобин.

*** Д. С. Мережковский.

было настоящее физическое страдание. Наша спутница уже лежала в полуобмороке.

Но мы не вышли. И хотя я до сих пор не могу без ужаса и удивленья вспомнить эту ночь — я до сих пор радуюсь, что мы решили претерпеть и это.

Длинная-длинная ночь удушья под гул голосов внизу. Иногда зажигают огарок, вижу бледные, вытянутые лица сидящих внизу; рядом уже знакомую физиономию еврейчика, полуинженера, и еврейки, едущей в Витебск. В углу плачет невидимый ребенок: он тоже задыхается. Часы идут...

А вот и поздний зимний рассвет. Посерело.

Утром в купе и в прилегающей к нему части коридора устанавливается мало-помалу человеческое общение.

2

В коридоре, против нас, на груди каких-то тюков, уместилось человек пять красноармейцев. Звенел, как колокольчик, голос одного из них, говоруна-краснобая.

На вид — обыкновенный русский солдат из денщиков или писарей. Лицо, что называется, обыкновенное, маленькие усики, широкие скулы. Одет скромно, без современного франтовства, не то что его молодой товарищ. У того часы браслеткой, кольцо на мизинце. Какой язык у краснобая! Сыплет поговорками, пословицами, остроумными замечаниями. Спутники гогочут.

Сразу не разберешь их политической ориентации. Юмор Разгуляева — фамилию я узнал лишь при прощании — не щадит никого. Особенно же достается евреям.

Поодаль, в коридоре, сидел еврей, тоже из компании. Разгуляев иначе к нему не обращался, как поддразнивая: «Мовше, Мовше! Ну и что ты там из-под себя думаешь?»

Начальство постоянно проверяло документы, искало продуктов. Комендант поезда, увидав наши командировки и узнав, что едут писатели, отнесся к нам очень почтительно. Весть об этом быстро разошлась по вагону; разгуляевская группа стала относиться к М. даже с лаской и вниманием.

По мере того, как люди выходили, разгуляевцы перемещались в наше купе, но верхних коек не трогали. Сам Разгуляев сел на край лавки, где сидел я, и заставил меня растянуться, отдохнуть.

Но с Витебска начался штурм вагона. Вваливались люди, в полной темноте начинали вопить, что-то требовать, ломались в запертое купе каких-то комиссаров. Маленький кривоногий еврей заявил, что везет полто-

ра миллиона казенных денег («на пропаганду в Польше!») что ему необходимо отдельное купе, а публику чтобы высадить.

Пошла невероятная свара и даже свалка. Затем появились красноармейцы с ружьями, и кто-то кого-то арестовал.

Ночи, вообще, мне помнятся как непрерывный скандал. Удушье и дикие вопли во тьме. Который это круг Дантовского ада?

Разгуляевцы грудью защищали наше купе, выталкивая непрошенных гостей. Но, в конце концов, к нам таки влезло немало новых красноармейцев. Около М. примостился какой-то обвязанный, несчастный. Внизу тоже был больной. Набилось опять не то 11, не то 16 человек.

В светлые промежутки, когда, после мучительных остановок, поезд полз со скоростью 12 верст в час, Разгуляев беседовал. Особенно долго с полуинженером, евреем. Объяснял, почему он коммунист и почему он критикует власть. Обвинял интеллигенцию в саботаже.

— Вот я казначей. Миллионные у меня обороты. Записываю своими каракулями. А бухгалтера из интеллигентов возьми — начнет тебе разговаривать, только тебя спугает. Знаем мы этих саботажников.

Спутница наша долго прислушивается к Разгуляеву, к его прибауткам, к его разговорам с другими товарищами — «коммунистами». Наконец я слышу, как она, пробираясь из коридора и остановившись в дверях, обращается к ним:

— Слушаю я вас, товарищи, и вижу — умные вы люди, умно рассуждаете, а что к чему и в каком смысле — понять не могу.

Товарищ Разгуляев просто-просто, без всякого жеманства, ответил:

— Да у нас это у самих не выяснено. Не разобраться нам никак. Не под силу, значит.

3

Еще ночь — уже совсем без сна. Нашествие в Орше, новые вопли в черной тьме, драки, аресты. Мы уже покорились всему, как-то окаменели. Тревожила мысль о насекомых. Мы их не видели, но чувствовалось их присутствие.

В Могилеве разгуляевцы дружески с нами простились. Разгуляев, «на всякий случай», дал мне свой петербургский адрес. Мы чуть ли не облобызались.

До последней станции уже недалеко, но нет паровоза, и мы стоим долгие часы. В Р. новый наплыв. Куча евреев и евреек стали таскать в одно из купе не то продукты, не то мануфактуру. Командовал ими молодой комиссар, очевидно занимающийся контрабандой.

С ним было еще несколько красноармейцев. Все охали, злились и ругались. Один, приготавливаясь выходить, обвязываясь, стонал:

— Состарила меня эта война. Жисти нет. Везем кое-какую мануфактуру, авось чего промыслим. Нет жисти, состарило меня.

Спутница наша, с верхней лавки, возражает:

— Чего вам стариться, сами воюете, сами свою жизнь себе такую устроили, а еще жалуетесь.

— Да ведь то сказать: ведь народ не то что сдурел, а прямо с ума походил. Толкануть бы нас по загривку хорошенько...

Другой вступается:

— Мало тебя толкают. Всего, кажись, истыкали...

— Да ведь то сказать: ведь кто тычет-то?.. Ведь...

Но товарищ решительно обрывает его:

— Еще чего? Вплоть до расстрела захотел? Поскули, поскули...

И в самом деле, разговоры в вагоне весьма опасная вещь. На десяток мужиков русских, одетых в красно-